Дмитрий ФУРМАН

«ЦЕНТРЫ» И «ПЕРИФЕРИИ»

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРЕХ ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКИХ РЕСПУБЛИК

В политических предпочтениях и политическом поведении жителей трех восточно-славянских столиц — Москвы, Минска и Киева — много общего. Голосование в трех этих городах значительно отклоняется от среднего по их странам в сторону большего антикоммунизма и большей приверженности идеям рынка и демократии. И это совершенно естественно. «Антикоммунистическая революция», прошедшая в СССР и уничтожившая его, была революцией, осуществленной прежде всего верхами общества, сформировавшейся внутри советского общества социальной «элитой». Она разорвала это общество, стеснявшее ее в стремлениях к собственности, свободе (естественно, прежде всего — для себя), а также респектабельности и легитимности, которые в условиях распада коммунистической идеологии могло дать лишь превращение номенклатурных статусов в общепризнанные и «конвертируемые» статусы общества западного типа.

Бесчисленные опросы во всех наших трех странах показывают, что чем образованнее, богаче («элитарнее») и, естественно, чем моложе респонденты, тем скорее их ответы демонстрируют приверженность «западничеству», рынку и демократии; чем беднее, необразованнее и старше, — коммунистической идеологии и «антизападничеству». Но столицы — это естественное место сосредоточения элиты. Все наши партийные, научные, военные и прочие представители «номенклатуры», выдвигавшиеся на периферии, старались перебраться в столицы или, во всяком случае, переправить туда своих детей. В равной мере вся стремящаяся к карьере честолюбивая молодежь устремлялась в столичные вузы и стремилась всеми правдами и неправдами закрепиться в культурных и богатых центрах, где много возможностей престижной работы и роста, где рядом — власть и где больше контактов с Западом. (Запад играл и играет по отношению к СССР и постсоветским странам роль, очень похожую на роль столиц в отношении к периферия — образца для подражания — и центра, «высасывающего» как потенциальную элиту, молодых и энергичных, так и тех, кто уже стал элитой и обладает деньгами или особыми знаниями и талантами.) При этом столицы не только концентрируют либеральную элиту, но и создают определенную среду, «локальную субкультуру». Дело в том, что концентрация богатства и власти выгодна для всех, в том числе и для отнюдь не «элитарных» жителей столиц, ориентирующихся на элиту и ее ценности, идеологию и стиль жизни, свысока смотрящих на провинциалов и стремящихся закрепить свое привилегированное положение. Именно в силу этого москвичи, например, поддерживают лужковскую политику ограничения московской прописки, превращающего их в нечто вроде замкнутого привилегированного сословия. Поэтому противостояние столиц периферии («провинции», «регионам») — это прежде всего пространственное выражение противостояния «верхушки» общества его «низам». Однако в каждой из наших стран это «социально-пространственное» противостояние принимает осо-

ФУРМАН Дмитрий Ефимович — главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор исторических наук.

бые формы и ведет к различным следствиям. Так что мы можем говорить о трех совершенно различных и устойчивых типах взаимоотношений столиц и «провинции», столичных элит и «простого народа», живущего в «регионах».

Россия — доминирование столицы

Из трех наших столиц Москва — «наиболее столица», ибо это не только Центр России, но еще и бывший Центр СССР, «соцлагеря» и даже «мирового коммунистического движения». И соответственно она притягивала к себе не только российскую, но и всю советскую элиту и для всего СССР была «окном на Запад». Соответственно и процессы «гниения», распада коммунистической системы и перерождения коммунистической элиты шли здесь наиболее интенсивно («рыба гниет с головы»). Окончательная гибель СССР при крайней централизованности советского общества могла наступить только при достижении определенной необходимой стадии «перерождения» самого Центра — прибалтийские, западно-украинские и прочие антикоммунизмы и сепаратизмы могли по-настоящему подняться, лишь получив определенные «сигналы» из Москвы. (Так, когда за сохранение СССР высказалось только 36,7 процента столичных избирателей, стало окончательно ясно, что центр сопротивляться не может.) Наша антикоммунистическая революция — это прежде всего московская революция, к которой примкнула вторая столица Ленинград-Петербург (как, при всех своих отличиях от революции 1991-го, революция 1917 года была прежде всего петроградской, к которой примкнула вторая столица — Москва). Рассмотрим теперь роль московских голосований в установлении и поддержании «революционной» антикоммунистической власти в России.

Естественно, что Москва и Ленинград поставляют основной костяк «межрегиональной группы» народных депутатов СССР. В Москве и Ленинграде организуются и громадные, транслируемые телевидением на всю страну демонстрации — вначале в поддержку М. Горбачева и межрегионалов против консерваторов, а затем уже и против Горбачева.

На референдуме 1991 года о сохранении СССР и о введении поста президента России Москва и Ленинград высказались за СССР меньше (50 процентов голосовавших в Москве и 51 процент в Ленинграде-Петербурге), а за введение поста президента — больше (79 процентов в обоих городах), чем остальная Россия (в России в целом соответственно 71,34 и 69,85 процента), за исключением Свердловска-Екатеринбурга, где действовал специфический фактор местного патриотизма, побуждавший голосовать за своего, Б. Ельцина.

На выборах президента России в Москве за Ельцина проголосовало 72 процента, в Петербурге — 67, в России же в целом — только 57,3 процента, за Н. Рыжкова в Москве и Петербурге — по 11 процентов, в России — 16,85 процента, за В. Жириновского соответственно — 4,6 и 7,8 процента.

Сопротивление москвичей августовскому «путчу» сыграло главную роль в его провале, расчистившем путь для ликвидации СССР и превращения «партии», доминировавшей в Москве, в «партию», правящую в «свободной России».

На референдуме 1993 года Москва и Петербург опять-таки оказались впереди всей России по поддержке Ельцина. За доверие президенту в Москве высказалось 75 процентов, Петербурге — 73, а в стране — 58,7 процента, за одобрение его экономической политики — 70,65 и 53,04 процента, за перевыборы президента — 21,23 и 31,7 процента, за перевыборы народных депутатов — 51,49 и 43,06 процента.

В Москве затем разворачивается драма противостояния Ельцина и народных депутатов, а в сущности — центральной, «московской», власти де-

мократов и представителей более «традиционалистской» и «советской» России. При этом депутаты, засевшие в «Белом доме», окружены враждебной Москвой, почти как парламентарии осаждающей крепость армии, прибывшие в эту крепость и оказавшиеся в ней в ловушке.

На декабрьском 1993 года референдуме, «легитимизировавшем» государственный переворот и установившем авторитарную власть президента-«демократа», за Конституцию высказалось 69,94 процента москвичей, 71,61 процента петербуржцев и только 55,22 процента всех россиян (по официальным данным, «вызывающим некоторые сомнения»). Естественно, что и на выборах в Думу в 1993 году московское и петербургское голосования резко отличались от общероссийского. За «Выбор России» в Москве — 35, Петербурге — 27, а в стране в целом — только 15,51 процента, за «Яблоко» — 12,21 и 7,86 процента (сильные позиции «Яблока», группы оппозиционной, но оппозиционной внутри западнически-демократического лагеря, именно в Петербурге отражают, очевидно, некоторую оппозиционность второй столицы, «завидующей» первой, подобно тому, как в прошлом веке, наоборот, Москва «завидовала» Петербургу и в силу этого была несколько оппозиционной). Напротив, за КПРФ в Москве голосовало 11, Петербурге — 8 и стране в целом — 12,4 процента.

Сходная ситуация сложилась и на выборах в Думу в 1995 году. Гайдаровский «Выбор России» полностью сошел на нет и не смог даже преодолеть пятипроцентного барьера, получив в стране в целом только 3,9 процента голосов. Но в Москве и Петербурге это — крупная партия, получившая соответственно 11,7 и 12,5 процента голосов. Правительственная НДР получает в Москве 19,3, Петербурге — 12,9, в целом по России — 10,3 процента, «Яблоко» — 15,1, 16,2 и 7 процентов. Наоборот, КПРФ — 15, 13,4 и 22,7 процента, а сохранившаяся как крупная сила в масштабах страны ЛДПР (11,4 процента всех голосов) в Москве и Петербурге полностью сходит на нет, получив 2,6 и 3,5 процента (ситуация, зеркальная ситуации «Выбора России», сошедшего на нет в стране в целом, но сохранившегося как крупная сила в столицах).

Наконец на президентских выборах в 1996 году Ельцин побеждает в Москве и Петербурге сразу и практически без усилий. На первом туре он получает в Москве 61,7, Петербурге — 49,8, в целом по России — 35,8 процента, на втором туре — 77,3, 73,9 и 53,7 процента.

Итак, Москва и Петербург — резко впереди всей остальной России по поддержке «демократических» сил, ставших в 1991 году «партией власти». Более активной и последовательной электоральной поддержки этой «партии», чем в Москве и Петербурге, в России нет. Москва и Петербург, таким образом, — как бы политико-географический «полюс» российской политической жизни. И «полюс» этот скорее социальный, чем региональный. Москва и Петербург — столицы, а не «регион», и уже соседние с ними области Тверская, Ивановская и др., и даже Московская и Ленинградская, дают совсем иные, значительно менее «западнически-либеральные» и более близкие к среднероссийским цифры результатов голосований. Соответственно и противоположный — коммунистический и «антизападнический» политико-географический — «полюс» в России тоже скорее социальный, а не региональный. Политические различия регионов, связанные с различиями культурных традиций, в России выражены очень слабо (естественно, что мы говорим здесь только о русских регионах, а не о национальных республиках, входящих в состав России), и степень поддержки коммунистов связана не столько с культурными различиями, сколько с урбанизированностью региона и образовательным уровнем его населения. Наиболее «антиельцинский» — Центрально-Черноземный регион, во всех областях которого урбанизированность и образовательный уровень населения ниже среднероссийского. Последовательно прокоммунистическим и антиельцинским явля-

ется и ряд других областей, разбросанных в самых разных частях страны, но всегда слабо урбанизированных и относительно «необразованных». Таким образом, если «демократический полюс» в России не регион, а просто столицы, то и противоположный, коммунистический — тоже не регион, а просто «антистолицы», прежде всего деревня.

Но столицы в России — основной бастион не просто демократов, а правящих демократов. На протяжении всего позднесоветского и постсоветского периода московской элите удается вести за собой Россию. Достигается это, однако, очень сложным путем, и лидерство Москвы в России очень своеобразное и условное.

Во всех российских голосованиях в парламенты партии и движения, поддерживающие Ельцина и его политику и лидирующие в голосовании москвичей и петербуржцев, настолько регулярно терпят сокрушительное поражение в масштабах страны, что возникает впечатление, что провозглашение той или иной партией поддержки президента заранее обрекает ее на гибель. Все наши парламенты — «коммуно-патриотические». Только один раз, на пике революционной волны демократам удалось победить на съезде народных депутатов, выбрав Ельцина председателем Верховного Совета (это был тот самый съезд и Верховный Совет, которые были затем Ельциным насильственно разогнаны). «Московская идеология», таким образом, — это идеология очевидного меньшинства, совершенно не способная стать идеологией страны. Между тем, хотя идеология и политика Ельцина регулярно отвергаются, сам он так же регулярно побеждает на всех «дихотомических» голосованиях — референдумах и президентских выборах. Причем это может происходить почти одновременно или просто одновременно, например в 1993 году, когда большинство россиян послало в Думу противников президентского курса, но в то же время поддержало (все же, скорее всего, поддержало) ельцинскую Конституцию. Как объяснить эту удивительную, на первый взгляд, закономерность российской политической жизни?

Во-первых, конечно, политическая система, созданная Ельциным после переворота 1993 года, делает Думу органом, относительно мало значащим, а власть президента — почти всесильной. Соответственно власть и элита, относительно спокойно относящиеся к парламентским выборам, напрягают все силы и используют все возможности, чтобы выиграть жизненно важные президентские. Это — массированная пропаганда в СМИ, а также «подкуп» лидеров ряда национальных республик, входящих в состав России, которые в обмен на разного рода уступки Центра обеспечивают «правильное» голосование послушного и (или) доверяющего им населения. (Так, в 1996 году Ельцин уже на первом туре получил 59,9 процента голосов в Калмыкии, 62,5 процента в Туве и 53,2 процента в Якутии, а на втором туре в целом в республиках за него отдали голоса 52,1 процента, а в краях и областях — только 49,7 процента. Ясно, что это свидетельствует не об особой приверженности калмыков западно-либеральным ценностям, а о том, что Илюмжинов организовал выборы, получив за это гарантии невмешательства во «внутренние дела Калмыкии», в которой он ликвидировал оппозицию и фактически устроил свое ханство.) Наконец, власть, несомненно, может прибегать и к разного рода манипуляциям с бюллетенями и их подсчетом.

Однако объяснение побед Ельцина одной мобилизацией ресурсов власти, конечно, недостаточно. Пропаганда может дать эффект только тогда, когда есть готовность воспринять ее, а масштабы возможных манипуляций все же ограничены и не могут дать той убедительной победы, которую, например, одержал Ельцин в 1996 году.

Вторым объяснением, не исключающим, но дополняющим первое, является идея «меньшего из двух зол», позволяющая Ельцину перетянуть на свою сторону оппозиционных к нему избирателей, которые, однако, счита-

ют, что его соперники (съезд депутатов и Верховный Совет в 1993-м, Зюганов в 1996 году) еще хуже. То, что этот принцип голосования реально действовал, — очевидно. Но и это объяснение недостаточно, ибо возникает вопрос: почему же именно Ельцин воспринимается как зло наименьшее? То, что его противники воспринимаются как зло большее — не объяснение, а изложение той же проблемы другими словами. Необходимо какое-то третье объяснение, не исключающее первые два, а включающее их, объяснение и эффективности пропаганды, и того, почему именно Ельцин, «власть предержащая», оказывается меньшим злом.

Мне думается, что в особенностях нашего голосования проявляются некоторые очень глубокие и устойчивые особенности русского сознания, русской культуры — склонность рассматривать власть, откуда бы она ни взялась и какими бы ни были ее идеология и политика, как меньшее зло по отношению не к каким-то иным идеологии и политике, а просто к ситуации перемены власти, которая ощущается как опасная, тревожная, чреватая пресловутым «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным». Только один раз, в ходе первых президентских выборов 1991 года, большинство россиян в какой-то мере высказалось против власти — за Ельцина и косвенно — против Горбачева. Но это была совершенно исключительная революционная ситуация, когда власть воспринималась как «для нас» слишком слабая, слишком либеральная. Но даже и тогда выбирали все же отнюдь не «настоящую» власть — мало кто мог предвидеть, что скоро СССР развалится и Ельцин станет главой независимого государства. Психологически голосование за Ельцина в 1991 году ближе не к более поздним голосованиям за него, а к голосованиям на выборах в Думу, когда голосующие понимают, что власть, которую они выбирают, — вообще не власть, и именно поэтому позволяют себе дать волю своим негативным чувствам. Реальную же власть на протяжении всего этого революционного периода и на всех выборах Россия так ни разу и не отвергла. Власть подавляет традиционалистское сознание, готовое простить ей все что угодно, кроме одного — слабости. (При таком отношении к власти расстрел «Белого дома» и подавление Ельциным им же спровоцированного вооруженного сопротивления сторонников парламента, которые при иной народной психологии, иной культуре лишили бы его популярности, у нас — скорее ее прибавили: появился «хозяин», который шутить не любит, а мы знаем, что «с нами надо построже».)

Таким образом, возникает очень интересная картина. Власть придерживается реформистской и «модернизаторской» идеологии, но действительная поддержка этой идеологии ограничивается прежде всего Москвой и Петербургом, явным меньшинством. Решающая же поддержка этой «модернизаторской» власти — «традиционалистская», видящая в ней не носителя определенной идеологии, а просто власть, которая как бы «от Бога». Именно традиционалистское отношение к власти позволяет ей проводить не принимаемую народом радикально-реформистскую политику, приобретающую в этих условиях, как и сама власть, странные и причудливые формы — радикальный демократизм порождает «царскую» президентскую власть, обрастающую самодержавной символикой; реформы же, раз народ их не приемлет, а за власть при этом все равно голосует, проводятся в интересах прежде всего тех, кто их проводит.

Российская ситуация — это ситуация устойчивого доминирования Центра и элиты, которые не столько ведут за собой народ, убеждая его, привлекая его своими идеями и своей политикой, сколько просто властвуют, используя отчасти, как в 1993-м, силу, но прежде всего традиционалистские страхи перемен, неопределенности и свободы и авторитет власти.

Москва — это база и штаб-квартира «партии», подчинившей страну. Политику этой «партии» народ не приемлет, но свергнуть ее у народа нет сил (прежде всего психологических). Но другая сторона такой ситуации

«штаб-квартиры захватчиков» — это ситуация «осажденной крепости». Все время сохраняется угроза, что негодование перевесит страх перемен, что «партизанские отряды» в регионах объединятся каким-нибудь вождем, который захватит столицу и превратит ее из базы победителей в побежденный и «оккупированный» город. (Естественно, что в городе, который одновременно — база завоевателей и осажденная крепость, никакой демократии быть не может, и мэр этого «западнического» и «либерального» города проводит выборы в городскую Думу почти такие же организованные и предсказуемые, как выборы советской эпохи. — *См. Б. Кагарлицкий.* Русский «касикизм». — «Свободная мысль», 1998, № 3.)

В России «завоевание» столицы силами провинции — отдаленная перспектива и смутная угроза. А вот в Белоруссии, нашей второй восточнославянской «сестре», эта угроза осуществилась.

Белоруссия — доминирование периферии

Минск в Белоруссии, как Москва в России, является естественным центром антикоммунистических сил. Как голосование Москвы и Петербурга — на порядок более «демократическое», чем «среднероссийское», так и голосование Минска — на порядок более «демократическое», чем «среднебелорусское». (Различие лишь в том, что в Белоруссии, как и в любой иной республике бывшего СССР, кроме России, антисоветская и демократическая идеология принимает специфически «национал-демократическую» окраску.) Как и Москва, Минск — «демократический полюс» политической жизни своей страны. Правда, регионально-культурный фактор, почти незаметный в России, в Белоруссии все же относительно заметен. Гродненщина и западные районы Минской области с их значительным католическим (польским, католическим белорусским и полупольским-полубелорусским) населением демонстрируют бо́льший уровень антикоммунизма и «антироссийскости», чем Гомельщина и Могилевщина, родина А. Лукашенко. Но западный регионально-культурный фактор национал-демократического голосования все же неизмеримо слабее, чем минский социальный. Второй географический «полюс» белорусского политического спектра поэтому, как и в России, — «антистолица», деревня, хотя, скорее, восточная, могилевская и гомельская, чем западная.

Так, на референдуме о судьбе СССР в 1991 году за сохранение СССР высказались 82,7 процента белорусских избирателей, в Минске — только 65,6 процента, против — 16,1 процента, в Минске — 32,7 процента. На выборах президента в 1994 году на первом туре за З. Позняка проголосовали в целом 12,82 процента, в Минске — 20,92 процента, за С. Шушкевича соответственно — 9,9 и 21,21 процента. (В Гродненщине за Позняка проголосовало даже больше, чем в Минске — 21,21 процента, а за Шушкевича меньше — 10,38 процента. Очень характерно, что в Гродненщине более популярен скорее националист, чем демократ, Позняк, в Минске — скорее демократ, чем националист, профессор Шушкевич.) Наоборот, за Лукашенко на первом туре высказались 44,82 процента всех голосовавших и только 26,48 процента проголосовавших в Минске. На втором туре Лукашенко получил соответственно 80,4 и 70 процентов в Минске, но это — 70 процентов от 51,6 процента, ибо многие минские избиратели, чьи кандидаты не прошли на второй тур, просто не пришли голосовать.

На организованном Лукашенко референдуме 1995 года за равный статус русского и белорусского языков высказались 83,3 процента всех избирателей и 76,4 процента минчан, против — 12,7 и 20,4 процента (для оценки этих данных надо учесть, что Минск в отличие от деревни практически

целиком русскоязычный), за новую (она же слегка измененная старая, советская) государственную символику — 75,1 и 58,9 процента, против — 20,5 и 37,2 процента, за политику экономической интеграции с Россией — 83,3 и 73,3 процента, против — 12,5 и 23,3 процента, за расширение полномочий президента — 77,7 и 64,5 процента, против — 17,8 и 31,7 процента.

В Верховные Советы 12-го и 13-го созывов минчане направили большинство оппозиционных депутатов — бенеэфовцев и членов Объединенной гражданской партии. Наконец на референдуме 1996 года, «легитимизировавшем» лукашенковский государственный переворот, как наш референдум декабря 1993 года «легитимизировал» ельцинский переворот, Минск стал единственным белорусским регионом, где лукашенковская Конституция не получила необходимого большинства (здесь за нее проголосовали только 45,05 процента, тогда как по всей стране — 70,45 процента). Официальные результаты этого референдума еще более сомнительны, чем результаты российского референдума декабря 1993 года, хотя победа на нем Лукашенко сомнений не вызывает — в таких критических ситуациях власти, естественно, нервничают и прибегают к манипуляциям, несмотря на то, что могут победить и совершенно честно, без всяких подтасовок. Манипуляций с бюллетенями, несомненно, в провинции было больше, чем в Минске. Таким образом, Минск в Белоруссии почти так же лидирует в антисоветизме и антикоммунизме (сейчас превратившихся в «антироссийскость» и «антилукашизм»), как Москва в России.

Но соотношение сил столицы и периферии в Белоруссии совершенно иное. Минская элита значительно слабее московско-петербургской, поскольку Москва в СССР была городом, притягивавшим к себе не только российскую, но и всю советскую (в том числе и белорусскую) элиту. Соответственно и по «размерам», удельному весу антикоммунистического голосования Минск, хотя и находится далеко впереди всей остальной Белоруссии, остается позади Москвы и Петербурга. Минская элита также значительно более разобщена, чем московско-петербургская, ибо это — наиболее русифицированная часть белорусского общества, включающая и много просто русских; и одновременно она — главный носитель национал-демократической идеологии. (Эта разобщенность привела к расколу национал-демократических избирателей в 1994 году между Позняком и Шушкевичем, а затем — к конкуренции БНФ и ОГП.) Кроме того, московская верхушка и московская власть обладают колоссальным резервом традиционалистской легитимности («так уж положено», что все решает начальство в Москве), которого нет у Минска, ибо естественным «легитимным» Центром для традиционалистского белорусского сознания является скорее Москва, чем Минск. Даже само независимое государство, которое для большинства белорусов в некотором роде «свалилось с неба», не обладает в сознании простых белорусов достаточной легитимностью. Поэтому ресурсы минской элиты очень ограничены, и некоторая поддержка на Гродненщине (отдаленном белорусском аналоге Западной Украины) не компенсирует эту слабость.

Но другой стороной традиционалистской покорности является «традиционалистский бунт». Народ терпит и сохраняет лояльность к власти как к «меньшему злу», но когда-то чаша терпения переполняется. Чаще всего это происходит не тогда, когда совсем плохо, а тогда, когда власть становится слишком слабой и «либеральной», не уверенной в себе, деморализованной свалившимися на ее голову событиями, как это произошло с минской верхушкой предлукашенковского периода. В Белоруссии народ, «периферия», смогли тогда объединиться и, выдвинув своего вождя, одержать верх над Минском и минской элитой в «электоральном восстании» 1994 года.

Ельцин и Лукашенко — фигуры по своей идеологии и социальной базе почти диаметрально противоположные. Несмотря на то, что Ельцин из Свердловска и в его идеологии 1989 — 1990 годов присутствовал демагоги-

ческий антиэлитарный и популистский комплекс «борьбы с привилегиями», он прежде всего — политический лидер московской элиты, воплощающий собой переход коммунистической номенклатуры на антикоммунистические, прокапиталистические и «западнические» позиции. Его поддержка — это поддержка прежде всего со стороны богатых и образованных, москвичей и петербуржцев и молодежи — в большей мере, чем стариков. Лукашенко, напротив, — носитель реальной и глубокой (а не временно используемой в чисто демагогических целях) популистско-антиэлитарной идеологии, человек, глубоко укорененный в советской и коммунистической традиции, никогда не принадлежавший к номенклатурной верхушке и вынесенный к власти при сопротивлении элиты волной народной любви и народного гнева. Его поддержка — это поддержка деревней скорее, чем городом, периферией, а не Минском, необразованными и бедными, а не богатыми и культурными, стариками в значительно большей степени, чем молодыми — «зеркально» противоположна поддержке Ельцина. Противоположны и угрозы и опасности для их власти. Кошмар Ельцина — это народ, от которого, при всей терпеливости и традиционалистском почтении его к власти, исходит постоянная угроза. И он вынужден улещивать его, делая всякого рода уступки народным настроениям, изображая из себя царя, не до конца знающего, как и положено царю в русской традиции, что творят его министры. Кошмар Лукашенко совсем иной. Это — кошмар «элиты», которая искажает все его начинания, смеется за его спиной, интригует и плетет заговоры, но с которой он ничего поделать не может. Это — кошмар человека, оказавшегося в практически тотально враждебном окружении в Минске (как в 1993 году народные депутаты России оказались в тотально враждебном окружении «демократической» Москвы). Почти в таком же враждебном окружении — среди глав СНГ, где он — единственный не представитель партноменклатуры, «выскочка» со странной идеологией, над которым смеются почти в глаза. И почти в таком же окружении — в Европе и мире, где всех отпугивает его наивная антизападническая и панславистская риторика и где главы государств, прощающие все «западнику» Ельцину и даже позволяющие ему, хотя, естественно, морщась, называть себя на «ты», ничего не прощают «колхозному» президенту маленькой Белоруссии, антизападнику и полукоммунисту. И что самое для него тяжелое, он сталкивается с почти такой же тотальной враждебностью элиты страны, патриотом и чуть ли не единственным верным другом, которым он себя ощущает, — России.

Отношения Ельцина и Лукашенко, и вообще России и Белоруссии, — это клубок парадоксов и противоречий. Ельцин — разрушитель СССР и, вроде бы, «человек, давший Белоруссии свободу». Но большинство белорусов с их скорее «западно-русским», чем белорусским самосознанием, не очень-то рады этой свободе и не прочь были бы вернуться в советскую ситуацию. Выражающий эти «народные чаяния» Лукашенко делает интеграцию с Россией своим главным лозунгом и поэтому вынужден иметь дело со своим антагонистом Ельциным, даже в определенной мере подстраиваясь под него и снося разного рода унижения и оскорбления от самого российского президента и еще больше — от «респектабельных», «элитарных» российских СМИ. Но его естественные симпатии — на стороне российской антиельцинской оппозиции. Равным образом и российская оппозиция видит в Лукашенко символ того, что еще не получилось, но, может быть, когда-нибудь получится в России, а кое-кто из нее — даже своего потенциального вождя. Наоборот, белорусская оппозиция объективно — противник интеграции с Россией, постоянно апеллирует к своим «классовым союзникам» — московской элите и московской власти, хотя эта власть, стремясь вернуть утраченную великодержавность, вынуждена поддерживать своего «классового врага», но одновременно — «геополитического союзника» Лукашенко, которого она была бы очень рада убрать, если бы при этом можно было со-

хранить пророссийскую власть в Белоруссии. И этот безумный клубок противоречий и клубок интриг еще более усугубляет «параноидность» ситуации белорусского президента, чьи реакции на события приобретают все более «неадекватный» характер.

Россия и Белоруссия тянутся друг к другу, но они — социальные «антиподы», и Белоруссия воплощает противоположную российской ситуацию «победы народа над элитой», которая, как мы еще будем об этом говорить дальше, ничуть не лучше (если даже не хуже) ситуации «победы элиты над народом».

Украина — расколы и в элите, и в народе, и в Центре, и на периферии

Если Белоруссия и Россия — зеркальные противоположности (во многом похожие друг на друга, как и «положено» зеркальным противоположностям), то Украина демонстрирует принципиально иную модель отношения Центра и периферии, народа и элиты, не похожую ни на белорусскую, ни на российскую. (Об украинской политической системе *см. А. Д. Мотыль.* Структурные ограничения и отправные точки. Логика системных изменений в Украине и России; *Э. Задорожнюк, Д. Фурман.* Украинские регионы и украинская политика. — «Украина и Россия: общества и государства». Под ред. Д. Е. Фурмана. М., 1997.)

Разумеется, общие посткоммунистические закономерности действуют и на Украине, где элита тоже «антикоммунистичнее» и демократичнее (здесь, как и в Белоруссии, скорее — «национал-демократичнее») народа, и киевское голосование — более «демократическое», чем среднеукраинское. Но это противостояние Центра и периферии играет на Украине относительно подчиненную и второстепенную роль, «забиваясь» главным противостоянием националистического Запада и русифицированных Востока и Юга (включая сюда и не русифицированный, а просто русский Крым).

Так, на референдуме 1991 года о судьбе СССР Киев в отличие от Москвы и Минска — не самый «антисоветский» регион. За СССР высказались 44,6 процента голосовавших киевлян, что значительно меньше, чем на Украине в целом (70,5 процента). Но самыми антисоветскими показали себя три галицийские области, где за СССР проголосовали: во Львовской — 14,7 процента, Ивано-Франковской — 16,1 процента, Тернопольской — 17,6 процента. Не Киев, а Галичина — естественный на Украине центр антикоммунистического и антисоветского движения, и студенты, устроившие в Киеве политическую голодовку, — это приехавшие в Киев львовские студенты. Галичина — бастион Руха, откуда рассылаются эмиссары по всем городам и весям Украины. Киев же только «примыкает» к Галичине, его голосование «правоцентристское», а не «правое», как галицийское. При этом антикоммунистическое голосование Галичины (и в меньшей степени других областей Западной Украины) — нечто качественно иное, чем антикоммунистическое голосование Киева. Это не «элитарное», «классовое», а «общенародное» голосование, голосование и простых крестьян, чьи антикоммунизм, антисоветизм и «антироссийскость» имеют глубокие культурные и религиозные основания.

И это противостояние Запада Востоку и Югу при скорее «центристской» позиции Киева — такая же устойчивая черта украинской жизни, как подавление Москвой провинции — жизни российской и подавление провинцией Минска — жизни белорусской. При этом силы Запада, с одной стороны, и Востока и Юга — с другой, относительно равновелики. Численно Вос-

ток и Юг сильнее, но они пассивнее, проявляют меньшую сплоченность, и элита склоняется скорее к западной позиции (хотя отнюдь не вся, и такого противостояния элиты и народа, как в Белоруссии и России, на Украине нет, элита также расколота). В этой ситуации исход политических битв решает позиция большой «переходной» зоны центральных областей, куда входит и Киев. Но украинский Центр решает не так, как Москва, которая выносит свои решения и навязывает их стране, а склоняясь к тому или другому из политических полюсов.

В декабре 1991 года проходят выборы президента и референдум о независимости. За независимость высказались 90,8 процента голосовавших, причем в Тернопольской области — 98,7, Ивано-Франковской — 98,4, Львовской — 97,5 процента. Меньше всего в Крыму — 54,2 процента. В Киеве же несколько больше, чем по Украине в целом, но меньше, чем в Галичине — 92,9 процента, то есть опять-таки Киев демонстрирует «правоцентристскую» позицию. На референдуме Западу удалось, как локомотиву, «притащить» всю Украину, включая упирающиеся и сомневающиеся Восток и Юг, к независимости. Но на выборах президента западный радикал В. Чорновил терпит поражение и побеждает Л. Кравчук. За Чорновила большинство проголосовало лишь в трех галицийских областях, меньше всего голосов он получил в Крыму (8 процентов), Донецкой (9,6 процента) и Луганской (10 процентов) областях. В Киеве же за него отдали голоса 26,7 процента избирателей. За Кравчука в целом на первом туре проголосовало 61,59, в Киеве — 56,1 процента. Картина все та же. Киев никогда не бывает самым радикальным, он всегда между крайностями.

Хотя в 1991 году «Дальний Запад» Украины Кравчука не поддержал и в целом его позиции были более сильны на Востоке, постепенно он теряет Восток и приобретает любовь Запада. Это естественно, ибо главное достижение Кравчука — независимость, главный же провал — экономика, а регион Украины, наиболее преданный идее независимости и готовый ради нее терпеть экономические трудности, — это Запад. Выборы в Верховную Раду в апреле 1994 года приводят к созданию левоцентристского парламента, причем Запад посылает в него руховцев и крайних националистов, Восток — коммунистов и социалистов, а Центр — самых разнообразных политиков и больше всего — беспартийных.

Ожесточенная борьба на президентских выборах 1994 года приносит поражение Кравчуку. За него на сей раз проголосовало подавляющее большинство (более 90 процентов) в трех галицийских областях, но он полностью потерял Восток и Юг. Зато победитель Л. Кучма получил подавляющее большинство в Крыму (89,7 процента), Севастополе (92 процента), Луганской (88 процентов) и Донецкой (79 процентов) областях. Киев снова — в «правом центре». Кравчук, собравший в целом 45 процентов, здесь получил 59,7 процента, Кучма, победивший большинством в 52,1 процента, в Киеве обеспечил себе поддержку только 35,6 процента избирателей.

Выборы в парламент в 1998 году также принципиальных изменений в эту картину не внесли. «Запад есть Запад, Восток есть Восток», а Киев — «посередине».

Таким образом, если в Белоруссии и России Центры борются с периферией (с противоположным исходом), то на Украине скорее идет борьба за Центр. Роль и функции Центра здесь — принципиально иные. Центр — не «полюс» политического спектра. Он не победитель, как в России, и не побежден, как в Белоруссии. Это — поле боя, куда устремлены крайние, «восточные» и «западные» силы. Это — буфер между крайностями, непосредственное соприкосновение которых (например, если бы Галичина граничила с Крымом или Донбассом) было бы чревато взрывом. И это — место торга, компромиссов и интеграции, ибо политические силы, стремясь получить поддержку в Центре (который на Украине одновременно — и ад-

министративно-государственный, и географический, и центр политического спектра), естественно сдвигаются к более центристской, более умеренной позиции.

Три типа отношений Центра и периферии и демократическое развитие

Эволюции российского и белорусского политических режимов, почти зеркально противоположных по идеологии и социальной базе, тем не менее удивительно схожи (как говорит банальная мудрость, «противоположности сходятся»).

И Лукашенко, и Ельцин сходу вступают в конфликт с парламентами и конституционными судами (хотя Ельцин может в этом конфликте опираться на столичных депутатов-демократов, а Лукашенко именно среди столичных минских депутатов встречает основное противодействие). Оба, борясь с парламентами, широко используют орудие референдумов. Оба, «устав» от этой борьбы, производят государственные перевороты (Ельцин — кровавый, Лукашенко — бескровный), разгоняя парламенты и подчиняя конституционные суды. Оба «легитимизируют» эти перевороты референдумами по новым конституциям, дающим им практически неограниченную власть. При этом белорусские побежденные демократы, как и положено демократам, пытаются отстоять демократическую конституцию, а российские «демократы»-победители, наоборот, отстаивают президентскую авторитарную. Более того, Конституция Лукашенко в огромной мере списана им с Конституции «демократа» Ельцина. Оба используют свою власть для проведения активной социально-экономической политики (хотя и с противоположной направленностью). Откуда же такое поразительное сходство действий вроде бы явных социальных и идеологических антагонистов?

Очевидно, сама ситуация подавления одной органической частью общества другой — Центром ли и элитой периферии и народа, народом ли (вернее, вождем, воплощающим его чаяния) и периферией Центра и элиты, по своим политическим последствиям в некотором роде — важнее, чем то, кто кого подавляет.

Российская правящая элита — западническая и либеральная, что придает специфическую окраску российскому режиму. Эта элита не для того сломала сковывавшую ее коммунистическую дисциплину, чтобы снова утратить свою свободу. И поскольку эта элита и так поддерживает власть и в действительно критическую минуту, забывая всякое фрондирование, бросается на помощь власти (как это было в 1996 году), Ельцину совершенно не нужно, например, бороться со средствами массовой информации, как Лукашенко, — они и так естественно и органично держатся в необходимых рамках. Но весь этот «либерализм» российского режима — в относительно жестких рамках, которые образуют сохранение теперешней власти и возможность проведения приватизационной политики, не принимаемой народом и выгодной элите. Демократическое устройство по сути своей не может обеспечить эти рамки, их способен поддерживать лишь авторитарный режим (пусть — с демократическим фасадом), опирающийся на «традиционалистское» терпение народа (на ту самую «рабскую психологию», которую столько раз оплакивали и клеймили сами демократы) и на силу, к которой в критической ситуации, как это было в 1993 году, режим в любой момент готов прибегнуть.

В Белоруссии народ победил элиту, и политика Лукашенко опирается на реальную поддержку большинства. Но это — именно триумф народа, а

не триумф демократии, победа народа, стремящегося не к свободе, а от свободы, к подавлению инакомыслия и диктатуре «батьки». Подавление элиты белорусским «сыном» и одновременно «отцом» народа еще меньше допускает сохранение демократических свобод, чем подавление народа элитой. И политика белорусской «диктатуры пролетариата», ориентирующейся на народные представления и предрассудки и просто в лице своего вождя, их разделяющей, может иметь еще более катастрофические последствия, чем своекорыстная политика элиты, которая, как бы плоха она ни была, все же обладает какими-то знаниями и навыками.

Обе эти ситуации глубоко недемократичны. Обе они — ситуации «придавленной» авторитарными режимами «классовой войны». И обе они — непрочные, чреватые потрясениями. Это ситуации «авторитарной стабильности», когда правитель не только может не уходить, но и не может уйти, ибо его уход — не только катастрофа для него лично, но чреват полной дестабилизацией и социальным переворотом. Поэтому правитель не уходит, а продолжает копить грехи и преступления. Но рано или поздно падение таких режимов не может не произойти. За внешней стабильностью наших систем кроется практическая неизбежность их мощной дестабилизации в будущем.

Украинское политическое развитие принципиально иное. В России вообще не было ротации власти. В Белоруссии была, но «революционная» и закрывшая возможность новых нормальных и мирных ротаций. На Украине была и, очевидно, будет новая. Никаких президентских государственных переворотов Украина не знает. И Конституция на Украине не изобретена президентом для своего удобства, а представляет собой результат нормального торга, борьбы и компромиссов.

Для демократического развития раскол общества на противостоящие друг другу элиту и народ, Центр и «периферию» — значительно хуже, чем ситуация, когда общество расколото на регионы, в каждом из которых есть и «своя элита», и «свой народ», тем более когда, как на Украине, между крайними зонами есть большая «буферная зона», куда входит и столица, Центр. Такой тип размежевания создает множество перекрещивающихся лояльностей и промежуточных типов. (Например, русский Крым — хотя на Украине русскоязычность более или менее совпадает с «левизной» и поддержкой коммунистов — не самый коммунистический; имеется очень много украинских сторонников капитализма, но русскоязычных и даже борющихся за равноправие языков; в Галичине большинство — униаты, но уже в соседней и тоже достаточно националистической Волыни, преобладает православие, и т. д. и т. п.)

В такой ситуации фигуры, воплощающие украинские крайности (львовский националист-униат, донецкий православный русский коммунист), неизбежно оказываются политическими маргиналами. Реальная же борьба ведется между людьми, хотя и с достаточно четкими идейными и личными характеристиками, обеспечивающими им базу в полярных регионах, но одновременно — достаточно неопределенными, умеренными и противоречивыми, чтобы они могли вести борьбу за «переходную зону» и «переходные типы» избирателей. (В 1993 году — это Кравчук и Кучма.) И в ходе этой борьбы они еще больше «сдвигаются к центру», смягчая свои позиции. Это приводит к компромиссности политической жизни, столь необходимой для развития и упрочения демократии.

И в Белоруссии, и в России авторитарная власть может проводить какие-то радикальные политики («шоковая терапия» и приватизация в России, волевой контроль Лукашенко над экономикой, когда он приказывает ценам опуститься и призывает избавиться от бизнесменов, как от «вшивых блох»). На Украине это невозможно. Здесь все компромиссно и поэтому — медленно. Но в этой многих раздражающей медленности и «вязкости» есть и свои

преимущества, ибо темпы реформирования экономики более или менее совпадают с эволюцией массового сознания и достижением «консенсуса». Медленное развитие может оказаться более прочным.

И если российская и белорусская ситуации — ситуации внешней стабильности и ожидания неизбежной и глубокой дестабилизации (когда любая простуда Ельцина, например, воспринимается как чуть ли не предвестие грядущей катастрофы), то украинская — внешней нестабильности, когда никто не может сказать, кто будет следующим президентом, но значительно более глубокой стабильности, ибо кто бы им ни стал, ничего страшного и никакой социальной катастрофы не произойдет.

Я вовсе не уверен, что украинцы «лучше» и психологически демократичнее, чем русские и белорусы. Хотя украинская традиция гетманского казацкого государства значительно более демократическая, чем самодержавная русская, очень трудно сказать, насколько она реально влияет на современное украинское сознание. Но украинцам «повезло» с исторически сложившейся системой региональных различий и противостояний. И из трех наших народов лишь они имеют возможность (разумеется, только возможность) прийти к развитой демократии в рамках существующих институтов, без глубоких социально-политических кризисов. У русских и белорусов такой возможности, очевидно, нет.